

Б. Л. МОДЗАЛЕВСКИЙ

ПУШКИН

И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ

Избранные труды
(1898—1928)

Санкт-Петербург
«Искусство—СПБ»

К истории ссылки Пушкина в Михайловское

Со дня смерти Пушкина прошло девяносто лет. Это средняя мера жизни поколений: наши отцы, мы (я говорю о людях моего возраста) и наши дети — вот эти три поколения; из них старшее увидело свет в годы, близкие к смерти поэта (мой отец, например, родился две недели спустя после кончины Пушкина), и росло в атмосфере идеалистических настроений 40—60 гг., под влиянием Белинского и плеяды представителей гоголевской литературной школы; мы, поколение среднее, произошли в те годы, когда русское общество уже пережило волнения, сомнения и отрицания 60—70-х гг., с их временным отвержением Пушкина, и были свидетелями того, как имя Пушкина постепенно выросло в сознании нашего общества, как он сам становился символом всей нашей культуры, ее олицетворением. Дети наши выросли уже в эпоху общего признания всей великости и всего значения гения Пушкина. Таким образом, можно сказать, что эти девять десятков лет, протекших со смерти поэта, в значительной степени прошли «под знаком Пушкина».

Но можем ли мы сказать, что мы *знаем* Пушкина, что нам *известно* все в нем и о нем? Увы, мы должны сознаться, к стыду нашему, что *нет*, — *не знаем*, что многое нам еще неизвестно. И в этом незнании мы должны винить не столько себя, сколько поколение старших и младших современников Пушкина и тех, кто, созрев в годы, когда память об ушедшем гении была еще так свежа, и впитав в себя многое от духовных даров Пушкина, не приложил стараний к тому, чтобы по горячим следам, в среде, близкой к Пушкину, заняться тщательным собиранием его произведений, его писем и других писаний, сведений о нем самом и о его жизни, о его друзьях, врагах и просто знакомых, сохранением вещественных памятников, с ним связанных, вроде его библиотеки и житейской обстановки, наконец, охранением мест, в которых он жил, страдал и творил... Дей-

ствительно, что сделали для этого такие признанные друзья и приятели Пушкина, как Вяземский, Жуковский, Тургеневы, Плетнев, Нащокин, Соболевский, Погодин, брат поэта Лев Пушкин, его отец и сестра Павлица? Если для последних это был просто «Alexandre», то для первых, людей образованных, это был великий писатель, гениальный человек, украшение своей нации и своей эпохи... Для Боратынского, для Языкова, для Тютчева, для Гоголя и многих других ведь это был учитель, образец. И кто из них позаботился собрать для нас что-либо цельное, существенное, важное? Кто из перечисленных выше писателей дал себе труд написать о нем для нас свои воспоминания? Мы имеем от них лишь жалкие крохи, как будто они не знали, что им следовало рассказать нам о Пушкине. Присяжный историк Погодин уже в 1848 г. восклицал: «Голос современника, близкого человека — самое драгоценное свидетельство, которое ничем не заменишь. А потом Пушкин! Пушкина уже у нас забывают! Пушкина! Что это за ужасное время! Имени его не попадает в печати!» Сетуя на то, как «забываются у нас примечательные и важные люди», он восклицал: «О любезное Отечество! Что за равнодушие, что за неблагодарность! Какое мертвенное безмолвие! Когда же будет этому конец?» И тот же самый Погодин, исписавший и напечатавший тысячи листов, проживший до 1875 г., не удосужился рассказать для нас то, что он знал о Пушкине, — а знал он много! «Ничего нет назидательнее, как созерцание и изучение жизни великого поэта», — писал Плетнев, а в другом месте говорил: «Все, что попадаете нам у Пушкина, Байрона, Гете и Шиллера в роде суда литературного, — мы ловим все это с жадностью и усвоаем, как лучшее убеждение наше» — или утверждал, что без биографии Пушкина, «как без ключа, нельзя проникнуть в таинство самой поэзии». Что же сделал Плетнев для этой биографии, — он, кропотливый литературный критик и автор биографий множества посредственностей и сомнительных знаменитостей? Ничего! Он даже не сберег всех писем к себе поэта, большую их часть затерял... «У нас все родное теряется в молве и памяти, и внуки наши должны будут искать назидания в жизнеописаниях людей не русских; к своим же поневоле охладели, потому что ознакомиться с ними не могут: свои будут для них чужими, а чужие сделаются близкими. Хорошо ли это?» — спрашивал более добросовестный современник поэта — Даль, призывая всякого сносить в складчину все, что знает о Пушкине. «Много алмазных искр Пушкина рассыпались тут и там в по-

темках; иные уже угасли и едва ли не навсегда; много подробностей жизни его известно на разных концах России: их надо было снести в одно место...»¹ А еще раньше, в 1839 г., известный немецкий критик Варнгаген фон Энзе, по поводу выхода в свет трех первых томов «посмертного издания сочинений Пушкина», писал: «Биография Пушкина, которая представила бы откровенно и искренно все его отношения и его судьбу, была бы богатый подарок, заслуживающий благодарность, но в настоящее время трудно ожидать такой. Впрочем, пусть его соотечественники вместо того собирают и предварительно издадут материалы для будущего употребления...»²

К призыву этому ближайшие к Пушкину люди остались глухи, и лишь немногие из его знакомцев собрались набросать на бумагу свои воспоминания о сношениях с поэтом. Заметки Даля, Шевырева, Вельмана, Пушина, Льва Пушкина, А. П. Керн — вот главнейшее, чем мы располагаем, когда обращаемся к поискам живых свидетельств о поэте; все эти заметки к тому же более или менее случайны, эпизодичны, о многом умалчивают. А сколько могли бы рассказать нам, в связном и целом повествовании, такие близкие к Пушкину люди, надолго его пережившие, как Жуковский, Вяземский, Гоголь, Соболевский, Плетнев, Кукольник, Греч и все другие писатели-современники, Нащокин, Вульф и его сестры и великое множество его родных, знакомцев, «минутных друзей его минутной младости», свидетелей его пестрой и обильной превратностями жизни, лиц, с которыми бывал он в деловых или иных отношениях. Не говоря о его недоброжелателях, что могли бы мы узнать от его почитателей, среди которых было так много людей талантливых, владеющих пером...

Почему не записали своих воспоминаний о Пушкине такие его поклонницы, как А. О. Смирнова, Е. М. Хитрово, кн. В. Ф. Вяземская, гр. Е. К. Воронцова и многие, многие другие? Но Воронцова, например, не сберегла для нас даже писем к себе поэта (есть основание думать, что таковые были*), а Хитрово сохранила не все, а те, что сохранила, утаила под спудом...

Приведенных примеров, кажется, достаточно для того, чтобы видеть, как мало, досадно, преступно мало сделали для нас, потомков,

¹ *Вестн* С. Очерки истории русской журналистики // Историческая библиотека. 1880. № 3. С. 6—7.

² Там же. № 4. С. 8—9.

наши предки, те, которые жили в эпоху Пушкина, имели счастье его знать, видеть, наблюдать. Что же мы имеем от людей следующего поколения? Если мы назовем пять-шесть имен, то и это будет много...

Не считая Д. Н. Бантыш-Каменского, современника Пушкина и личного его знакомого, автора *первой*, более или менее подробной биографии Пушкина в «Словаре достопамятных людей Русской земли», 1847 г. (при составлении ее он использовал лишь некоторые рассказы отца поэта), мы можем назвать лишь Петра Ивановича Бартенева, П. В. Анненкова, Н. В. Гербеля, К. П. Зеленецкого, М. Н. Лонгинова, С. Д. Полторацкого... Пушкинианцам известны труды их, — особенно первых двух, сделавших для познания Пушкина очень много, — но мы не можем не сетовать на них за то, что они не сделали во много раз больше, ибо в те времена, когда они жили, можно было собрать от живых свидетелей множество сведений о поэте, его произведениях, лицах, ему близких, обстоятельствах и обстановке его жизни, — то есть сделать то, что теперь для нас, уже поздних потомков, представляется совершенно невозможным. Пушкиноведение развивалось очень медленно, — что видно хотя бы по известной Puschkinian'e Межова (СПб., 1886). Мощный сдвиг, стремление к изучению Пушкина проявились в 1880 и 1899 гг. — в эпоху празднования открытия памятника Пушкина в Москве и столетия дня его рождения. По поводу первой даты, ознаменованной, между прочим, устройством пушкинских выставок в Петербурге и Москве, в одной современной заметке читаем: «1880-й год составил эпоху в изучении Пушкина, и можно сказать без преувеличения, что лишь с этой поры устанавливается у нас как его личная биография, так и достаточно полная оценка исторического значения Пушкина. Мы несколько не уменьшаем заслуги, оказанной в этом последнем отношении Белинским и его продолжателями 50-х годов, — они уже выяснили существенные стороны великого исторического факта, представляемого поэзией Пушкина; но чего недоставало в этих прежних трудах, это — разработки подробностей биографических и историко-литературных. Исторический факт явится перед нами во всей полноте только тогда, когда мы получим возможность определить личность во всех чертах ее психологической жизни, со всеми подробностями общественной обстановки, среди которой она действовала»¹.

¹ Вестник Европы. 1886. № 11. С. 420—421.

Еще большее историографическое значение имеет юбилейный 1899 г; но лишь за последние два десятилетия пушкиноведение выросло в целую специальную науку и захватило в свою орбиту многочисленных исследователей, группирующихся в Ленинграде, Москве, Одессе; оно послужило к основанию целого специального учреждения — Пушкинского Дома и располагает первым и единственным в России специальным органом — сборником «Пушкин и его современники», насчитывающим уже 36 выпусков и продолжающим выходить*»; пушкиноведение и пушкиноведы непрерывно и настойчиво изучают отдельные вопросы жизни и творчества Пушкина, постоянно при этом встречаясь с пробелами, неясностями, противоречиями, недомолвками, полным отсутствием данных в той или иной области изучений, пробелами досадными и незаполнимыми, которые еще десяток-другой лет назад можно было заполнить.

Ведь еще так недавно здравствовали личные знакомцы Пушкина, от которых так много можно было узнать, которые в бумагах своих, теперь исчезнувших бесследно, хранили порой драгоценные материалы о прошлом. Давно ли были уничтожены некоторые письма Пушкина, давно ли, с другой стороны, мы были свидетелями находки многих рукописей Пушкина в имуществе Ивана Васильевича и Павла Васильевича Анненковых (в Петербурге и в Симбирской губернии); всего несколько лет тому назад значительное количество автографов и бумаг Пушкина найдено было в имении его внука под Москвою, наконец, уже совсем недавно в архиве родственников Е. М. Хитрово открыто было двадцать семь интереснейших писем поэта. И это теперь, когда всякий просто грамотный человек знает и понимает цену Пушкина и его рукописей, когда им уж не так легко погибнуть, когда автографы поэта ценятся на вес золота. Что же было двадцать пять, тридцать, сорок, пятьдесят лет тому назад? Сколько материалов было рассыпано повсюду, как много их погибло от невежества и небрежения. Да, прав был поэт, когда утверждал, что «мы ленивы и нелюбопытны»...

Теперь, может быть, мы стали прилежнее и любознательнее, но уже слишком поздно. Теперь нам приходится по крупичкам собирать те жемчужины, которые оставил нам поэт, как след своей творческой, гениальной деятельности и жизни. Теперь мы с напряжением и затратой огромных усилий выясняем те или иные подробности биографии или творчества Пушкина, — и процесс этого выяснения и собирания далеко не закончен. Этим объясняется тот, без сомне-

ния, прискорбный факт, что мы до сих пор, несмотря на девять протекших со смерти Пушкина десятилетий, не имеем еще полной биографии его, то есть полной истории его изумительной жизни и деятельности: некоторые основные вопросы пушкиноведения еще не выяснены в достаточной степени, требуют тщательного исследования, определения, обоснования. Рукописи Пушкина еще не в полной мере изучены, нет полного их перечня. Мы не знаем в точности обстановки детских лет поэта, — та среда, в которой он рос, еще недостаточно изучена, не обследовано имущественное состояние родителей поэта, — лишь недавно, например, в нижегородских архивных хранилищах обнаружено двенадцать дел нижегородской Палаты гражданского суда, содержащих в себе данные об имениях отца, дядей и тетки поэта; лишь после революции удалось проникнуть в дела секретного архива бывшего III Отделения и изучить вопрос об отношении к Пушкину тайной полиции; год тому назад, как мы уже указали, неожиданно открылись в архиве Юсуповых письма Пушкина к Хитрово, весьма важные для суждения о политических воззрениях Пушкина в 1830—1831 гг., нам многое еще неясно в обстановке последних лет жизни поэта, — обстановке крайне сложной и запутанной... Мы не знаем ближайших виновников последней дуэли Пушкина и можем строить лишь предположения о вдохновителях и исполнителях интриги против поэта; столь же мало исследованы и многие другие, более частные вопросы биографии Пушкина, как, например, вопрос о его ссылке в Михайловское. О том, какие существенные материалы и по этому вопросу находятся еще до сих пор под спудом, покажет мое дальнейшее небольшое сообщение о новых данных о ссылке Пушкина в Михайловское и об освобождении его отсюда.

Не будем разбираться в причинах этого грустного факта и попусту сетовать. Постараемся доказать, что к *нам* не приложимо обидное слово поэта, что «мы ленивы и нелюбопытны», — сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы искупить вину наших отцов. Образование государственного заповедника «Пушкинский уголок», а затем и Общества друзей заповедника и быстрый рост числа его членов убедительно показывают, что любовь и интерес к Пушкину как поэту и человеку растут неудержимо, что мы хотим работать для укрепления его памяти среди наших современников и среди молодого поколения, идущего нам на смену.

Это убеждение дает мне право надеяться, что собравшиеся здесь сегодня наши сочлены и гости не поскучают слушанием моего небольшого сообщения на довольно специальную тему: я хочу сказать несколько слов о нескольких новых фактах, предшествовавших ссылке Пушкина в Михайловское и последовавших за отъездом его отсюда. Факты эти открыты в не изданных еще материалах Пушкинского Дома, и как они на первый взгляд ни мелки, они приобретают значение в той общей цепи причин, которые молодого поэта, проникнутого величайшей жаждой жизни, шедшего навстречу этой жизни с неудержимой потребностью свободы, ярких, сильных и глубоких чувствований, столь неожиданно для него с залитого светом и красками Черноморского побережья забросили в новую, неизмеримо тягчайшую прежней, ссылку, похожую больше на одиночное заключение, чем на ссылку, — бросили в заточение в Михайловское. Правда, из этого двухгодичного заточения гениальная природа поэта извлекла максимальную пользу, обратив его к плодотворному творчеству, — ссылка не сломала поэта, а закалила его и принесла нам лучшие произведения Пушкина — «Бориса Годунова» и срединные главы «Евгения Онегина» (III—IV), не говоря о нескольких десятках лирических жемчужин, — ибо

...тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Но переживать эти годы Пушкину было безмерно трудно. Мы знаем, как он, впоследствии без горечи вспоминая о «том уголке земли,

где он провел
Изгнанником два года незаметных», —

мы знаем, как он рвался на волю и изыскивал все способы к освобождению. Только что открытое нами письмо к сестре, писанное ровно (почти день в день) через год по приезде в Михайловское, показывает нам всю силу этого стремления на свободу. По поводу неудачных и неудавшихся попыток матери и друзей получить для него разрешение на поездку в один из больших городов России или за границу он писал с горечью: «Я очень грустен от того, что со мною произошло, но я это предсказывал. Я не жалею на мать, — наоборот, я ей очень признателен: она думала сделать для меня хорошо, она горячо принялась за это, и не ее вина, что она ошиблась. Но мои друзья, они сделали как раз то, что я заклинал их не делать.

Что за безумное упорство принимать меня за дурака и толкать меня в беду, которую я предвидел, на которую я им указывал. Они возбуждают неприязненные чувства в его величестве, продляют мое изгнание, издеваются над моим существованием, и когда поражаются всеми этими ошибками, — они говорят комплименты насчет моих прекрасных стихов и — идут себе ужинать. Что ты хочешь? я грустен и обескуражен, мысль ехать во Псков представляется мне в высшей степени нелепой; но так как будут довольны, если я буду не в Михайловском, то я и ожидаю, чтобы мне на то было дано приказание. Все это — дело легкомыслия, жестокости непонятной. — Еще одно слово: здоровье мое требует другого климата, а его величеству не сказали о том ни слова. Его ли вина, что он ничего об этом не знает? Мне говорят, что общество в негодовании, — я — тоже, но я негодую на беспечность и легкомыслие тех, которые мешаются в мои дела. О, Боже мой, избавь меня от друзей!»* Вот как досадовал поэт.

Что же послужило поводом и причиной такой жестокой расправы с пылким молодым человеком? Посмотрим, как постепенно накоплялся материал для ответа на этот вопрос.

Первые биографы Пушкина, писавшие о нем еще под надзором николаевской цензуры, естественно, должны были обходить вопрос о причинах ссылки Пушкина как на юг, так затем и в Михайловское: например, Плетнев в своем некрологе-биографии Пушкина выразился кратко: «В конце 1824 г. Пушкин оставил Одессу», — и больше ничего¹; неизвестный автор очерка о Пушкине, помещенного в первом выпуске «Портретной и биографической галереи словесности, наук, художеств и искусств в России», вышедшем через четыре года после смерти поэта (СПб., 1841), также должен был ограничиться лишь заявлением, что «в конце 1824 года, оставив страны Южной России, Пушкин возвратился в село Михайловское, свою псковскую деревню» (стр. 8); Бантыш-Каменский мог сказать немногим больше: у него читаем: «8 июля он [Пушкин], по высочайшему повелению, уволен был от службы, а 11 числа велено перевести его из Одессы на жительство в Псковскую губернию, с тем, чтобы находился под надзором местного начальства. Он сам подписал приговор свой резкими суждениями и вольными чересчур стихами, ко-

¹ Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 1. С. 374.

торые переходили из рук в руки и были предметом общего разговора и удивления»¹.

Добросовестный собиратель сведений о жизни Пушкина в Кишиневе и Одессе К. П. Зеленецкий в «Москвитянине» 1854 г. (№ 9, отд. V, стр. 12) ограничился указанием на то, что, «живя в Одессе, Пушкин продолжал шалить» и что то обстоятельство, что «никакой особенной должности, никаких занятий по службе он не имел, навело в большей части публики сомнение в его дельности»; упомянув о смехотворном участии Пушкина в экспедиции в Херсонский уезд против саранчи, Зеленецкий писал: «...подобные истории еще бы ничего; но шалости 25-летнего поэта иногда переступали всякую меру, особенно в эпиграммах: это-то, равно как и разные знакомства, было причиною, что вскоре после своей херсонской командировки, Пушкин принужден был оставить Одессу».

Анненков в своих «Материалах для биографии Пушкина» выразился еще короче, не сказав ничего о причинах «перевода на жительство» Пушкина из Одессы в Михайловское и лишь упомянув, что он был, по роду своих занятий, мало способен к деятельности чиновничьей².

Свидетель одесской жизни Пушкина И. П. Липранди в 1866 г. писал, что в свои приезды в этот город в 1823—1824 гг. он находил Пушкина все более и более недовольным и что мрачное настроение духа поэта «породило много эпиграмм, из которых едва ли не большая часть была им только сказана, но попала на бумагу и сделалась известной. Эпиграммы эти касались многих из канцелярии графа Воронцова, — так, напрмер, про начальника отделения Артемьева особенно отличалась от других своими убийственными, но верными выражениями. Стихи его на некоторых дам, бывших на бале у графа, своим содержанием раздражили всех. Начались сплетни, интриги, которые еще более тревожили Пушкина. Говорили, что будто бы граф, через кого-то, изъявил Пушкину свое неудовольствие и что это было поводом злых стихов о графе», причем Пушкин заверял Липранди, что стихи эти написаны не были, но как-то раза два или три им были повторены и так попали на бумагу. «Услужливость некоторых тотчас распространила их». Это известное четверостишие:

¹ Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. СПб., 1847. Т. 2. С. 71—72.

² Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина. СПб., 1855. С. 92; 2-е изд. СПб., 1873. С. 86.

Полу-герой, полу-невежда
 К тому ж еще полу-подлец...
 Но тут однако ж есть надежда,
 Что полный будет наконец¹.

«Не нужно было искать, к чьему портрету они метили! — говорит Липранди. — Граф не показал вида какого-либо негодования; по-прежнему приглашал Пушкина к обеду, по-прежнему обменивался с ним несколькими словами». У Воронцова бывали в зиму 1823 г. танцевальные вечера по два раза в неделю, и наш поэт, по словам К. П. Зеленецкого, был непременно их посетителем². По свидетельству Липранди, Воронцов, посылая Пушкина, 23 мая 1824 г., в известную экспедицию против саранчи в уезды Херсонский, Александрийский и Елисаветградский³, не только не имел в виду оскорбить Пушкина, но, наоборот, хотел иметь повод к тому, чтобы, по окончании командировки, представить поэта к какой-либо награде; но «нашлись люди, которые, вместо успокоения раздражительности Пушкина, старались еще более усилить оную или молчанием, — когда он кричал во всеуслышание, — или даже поддакиванием», — и последствием этого было остающееся нам неизвестным письмо Пушкина к Воронцову на французском языке, написанное, по словам Липранди, «в сильных и — можно сказать — неуместных выражениях...»⁴. Опубликование Анненковым в «Вестнике Европы» 1874 г. (№ 2, с. 510 и сл.) извлечений из письма Воронцова от 28 марта 1824 г. с представлением об удалении Пушкина из Одессы и из ответа Нессельроде от 11 июля⁵ внесло некоторый свет во весь этот эпизод, — по крайней мере, подробная мотивировка просьбы, выраженная весьма подробно Воронцовым, показывала, как он смотрит на Пушкина и почему просит удалить его из Одессы. Новую путаницу в дело внесли «Записки» Ф. Ф. Вигеля в *полном* их

¹ В другой редакции:

Полу-милорд, полу-купец,
 Полу-мудрец, полу-невежда,
 Полу-подлец, но есть надежда,
 Что будет полным наконец.

(II, 317). — *Ред.* (1929).

² См.: Москвитянин. 1854. № 9. Отд. V. С. 11.

³ Пушкин: Статьи и материалы / Под ред. М. П. Алексеева. Одесса, 1925. Вып. 1. С. 50.

⁴ Русский архив. 1866. С. 1477—1478.

⁵ Полностью они напечатаны в «Русской старине» (1879. № 10. С. 292—294).

издании¹: в них передавалось сообщение о том, что действительным, но скрытым поводом высылки Пушкина послужила для Воронцова любовь поэта к его жене, причем будто бы поэт, сам не ведая того, играл лишь роль ширмы для давно и безнадежно влюбленного в графиню Александра Раевского, который, введя Пушкина в салон Воронцовой и разжигая его чувство, поведением Пушкина отвлекал внимание ревнивого мужа и общества от своего собственного поведения. Прошло много лет, прежде чем М. О. Гершензон доказал, что предание о роли, которую будто бы сыграл Раевский в истории высылки Пушкина из Одессы, должно быть безусловно отвергнуто, как построенное на ничем не подкрепленной сплетне². Однако тот же исследователь справедливо утверждал, что «обстоятельства, результатом которых явилась высылка Пушкина из Одессы... остаются до сих пор не выясненными. В этой истории несомненно есть какое-то *темное место*. Факты, нам известные: оскорбительное отношение Воронцова к Пушкину и взаимная антипатия между ними — объясняют не все. Есть достаточно оснований думать, что острая ненависть к Пушкину, заставившая надменного и выдержанного „лорда“ унизиться до жалкой мести человеку, стоявшему так неизмеримо ниже его по общественному положению, — была вызвана каким-то личным столкновением между ними на интимной почве. Эта уверенность заставляет отвести данному эпизоду видное место не только во внешней биографии Пушкина, но и в истории его душевной жизни»³. Допуская, что поводом к столкновению могла послужить какая-то романтическая история, соперничество в любви обоих к какой-то посторонней женщине, и утверждая, что Пушкин несомненно был влюблен в Воронцову (упоминание о ней в «Донжуанском списке»), Гершензон приходил к выводу, на основании ряда документов, что Пушкин был удален из Одессы вследствие политическо-

¹ При опубликовании «Записок» Вигеля в «Русском вестнике» (1865. Т. 59.) и в отдельном издании 1865 же года весь отрывок, касающийся Пушкина, Раевского и Воронцовой, был выпущен и восстановлен лишь в отдельном издании «Записок» «Русского архива» (М., 1892. Ч. 6. С. 168—171, от слов «Летом...» до «Через несколько дней»); но и в этом издании (с. 172) пропущены слова Вигеля о том, что, посылая Пушкина на саранчу, «сим ударом надеялся гр. Воронцов паразит его гордыню» (по рукоп.).

² Вестник Европы. 1909. № 2. С. 534; ср.: Гершензон М. О. Образы прошлого. М., 1912. С. 37; *он же*. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 188—189.

³ Гершензон М. О. Образы прошлого. С. 33.

го доноса на него, сделанного, быть может, не самим Воронцовым, а кем-либо другим, им подкупленным¹.

Не рассеяла окончательно недоуменных вопросов и находка нового документа, впервые опубликованного Н. О. Лернером в 1910 г.², — а именно, письма Воронцова к гр. Нессельроде от 2 мая 1824 г., из Кишинева, с новым, вторичным упоминанием об отозвании Пушкина. В этом письме он писал гр. Нессельроде о прибывших в Молдавию греческих выходцах, к которым русское правительство, объятое реакцией и страшившееся революционных вспышек, относилось подозрительно и недоброжелательно. Сообщая об установлении наблюдения за всем, что делается среди греков и молодых людей других национальностей, Воронцов так заключал свое письмо: «À propos de celà je repète ma prière — delivrez-moi de Pouchkin; celà peut être un excellent garçon et un bon poète, mais je ne voudrais pas l'avoir plus longtemps ni à Odessa, ni à Kichineff. Adieu, cher comte...» («По этому поводу я повторяю мою просьбу — избавьте меня от Пушкина: это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе. Прощайте, дорогой граф...»)

Теперь к этим документам о Пушкине мы можем прибавить еще несколько новых. Первый — и едва ли не самый интересный — сообщен нам в извлечении и в переводе на русский язык А. А. Сиверсом; документ этот вскоре будет опубликован полностью в сборнике «Пушкин и его современники»³; это выдержка из письма Воронцова к П. Д. Киселеву (тогда начальнику штаба 2-й армии) из Одессы от 6 марта 1824 г. (то есть еще за три недели до первой письменной просьбы Воронцова к гр. Нессельроде об увольнении Пушкина), в котором читаем: «Я хотел бы, чтобы взглянули, кто находится при мне и с кем говорю я о делах. Если имеют в виду Пушкина и Александра Раевского, — то скажу вам о последнем, что я не могу помешать ему жить в Одессе, когда ему того хочется, но с тех пор, что мы говорили с вами о нем, я едва соблюдаю с ним формы веж-

¹ См.: Гершензон М. О. Образы прошлого. С. 49. Возражения Гершензону в статье Д. Н. Соколова «По поводу стихотворения „Пускай увенчанный любовью красоты...“» (Пушкин и его современники. СПб., 1913. Вып. 17—18. С. 21—34).

² Речь. 1910. 18 окт.; ср.: Пушкин и его современники. Вып. 16. С. 65—70.

³ Напечатан ныне в сб. «Пушкин и его современники» (Л., 1928. Вып. 37. С. 136—143). — Ред. (1929).

ливости, которые требуются по отношению к старому товарищу и родственнику, и уж конечно мы никогда не обмениваемся ни словом о делах или о назначениях по службе: однако, по всему, что до меня о нем доходит, он разумен и сдержан во всех своих разговорах и чувствует, я полагаю, свое положение и в особенности вред, который он причинил своему отцу. Что касается Пушкина, то я говорю с ним не более 4 слов в две недели, — он боится меня, так как прекрасно знает, что при первом же шуме, о котором я узнаю, я отошлю его отсюда, и что тогда уж никто не пожелает взять его на свое попечение; я вполне уверен, что он ведет себя гораздо лучше и в разговорах своих гораздо сдержаннее, чем раньше, когда находилась при добром генерале Инзове, который забавлялся тем, что вступал с ним в споры, думая исправить его логическими рассуждениями, а потом позволял ему жить одному в Одессе, между тем как сам он находился в Кишиневе. По всему тому, что я узнаю о нем и через Гурьева, и через Казначеева, и через полицию, — он очень благодарен и сдержан; если бы было иначе, — я бы отослал его, — и лично я был бы в восторге от этого, потому что не люблю его манер; к тому же я не столь пламенный поклонник его таланта — нельзя быть истинным поэтом без постоянных занятий, а он совершенно не работает».

Этот резкий отзыв — первый в ряду других отзывов Воронцова о Пушкине. Отправив через три недели, 28 марта, уже официальную просьбу к Нессельроде об отозвании Пушкина из Одессы, Воронцов лишь через два месяца получил отзыв этого министра, который в письме к нему из Петербурга от 16/28 мая 1824 г. писал (по-французски): «Я представил императору ваше письмо о Пушкине. Он был вполне удовлетворен тем, как вы судите об этом молодом человеке, и даст мне приказание уведомить вас о том официально. Но что касается того, что окончательно предпринять по отношению к нему, он оставил за собою дать свое повеление во время ближайшего моего доклада»¹. Между тем, написав Нессельроде официальное письмо 28 марта, Воронцов послал и другое сообщение о Пушкине в Петербург, вставив его в совершенно частное письмо свое к своему старому и интимному другу — Николаю Михайловичу Лонгинову, многолетнему управляющему канцелярией императрицы Елисаветы Алексеевны, с которым был в давней, деятельной и интимной пере-

¹ Архив князя Воронцова. М., 1895. Кн. 40. С. 12.

писке, хранящейся ныне в Пушкинском Доме (в архиве его сына, известного библиофила и библиографа М. Н. Лонгинова)*. Именно, в письме от 8 апреля 1824 г., из Белой Церкви (киевского имения своей тещи, графини А. В. Браницкой) Воронцов писал Лонгинову следующее: «К Синявину (это адъютант Воронцова. — *Б. М.*) писал младший брат его, что отец по нему тоскует, и я его отпустил на время, но надеюсь, что он его не совсем задержит, ибо он малой прекрасной и лутчий у меня адъютант; можно сказать, что он редкой молодой человек. А прогос де молодых людей, я писал к гр. Нессельроду, прося, чтоб меня избавили от поэта Пушкина. — На теперешнее поведение его я жаловаться не могу, и, сколько слышу, он в разговорах гораздо скромнее, нежели был прежде, но, первое, ничего не хочет делать и проводит время в совершенной лени, другое — таксаётся с молодыми людьми, которые умножают самолюбие его, коего и без того он имеет много; он думает, что он уже великой стихотворец, и не воображает, что надо бы еще ему долго почитать и поучиться прежде, нежели точно будет человек отличной. В Одессе много разного сорта людей, с коими едакая молодежь охотно видится, и, желая добро самому Пушкину, я прошу, чтоб его перевели в другое место, где бы он имел и больше времени, и больше возможности заниматься, и я буду очень рад не иметь его в Одессе...»¹

Через три недели после этого и спустя месяц после письма своего к Нессельроду Воронцов снова писал Лонгинову, уже из Одессы, 29 апреля 1824 г.: «О Пушкине не имею еще ответа от гр. Нессельроде, но надеюсь, что меня от него избавят. Сегодня вечеру отправляюсь в Кишинев дней на пять»²; отсюда, из Кишинева, он снова писал Лонгинову, 4 мая 1824 г., о Пушкине, вспомнив о нем по связи с именем Туманского — Василия Ивановича, молодого поэта, с которым Пушкин, ценя в нем юный талант и добрый нрав, в то

¹ Пушкинский Дом, архив М. Н. Лонгинова, письма гр. М. С. Воронцова, 1824 г., л. 34.

² Там же. л. 43. Далее Воронцов сообщал, что его «маленькая», слава Богу, поправляется; о внезапной болезни своей маленькой дочери Воронцов извещал Лонгинова в письме из Одессы от 22 апреля 1824 г. (л. 38), а о вторичном заболевании писал из Одессы же 9 мая 1824 г. (л. 46); 4 мая 1824 г. из Кишинева писал Лонгинову, что, пробыв в Кишиневе пять дней, он собирается «сегодня» назад в Одессу, а 11-го предполагает, отправив перед тем детей в Белую Церковь, сесть на яхту и отплыть в Крым (л. 44); дети уехали 6 июня (л. 54), а сам Воронцов 22 июня писал Лонгинову уже из Юрзуфа.

время сблизился¹ и увековечил в «Евгении Онегине»: «Казначеев мне сказывал, что Туманской уже получил из П-бурга совет отдаляться от Пушкина, и я сему очень рад, ибо Туманской — молодой человек очень порядочный и совсем не Пушкинова разбора. Об эпиграмме, о которой вы пишете, в Одессе никто не знает, и может быть П. ее не сочинял; впрочем нужно, чтоб его от нас взяли, и я о том еще Несселроду повторил»². В этом повторном письме, от 2 мая, цитированном нами выше, Воронцов, как мы видели, просил «избавить его от Пушкина», прибавляя: «...это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе». О какой эпиграмме Пушкина, дошедшей до Петербурга, сообщал Воронцову Лонгинов, мы не знаем, так как письма Лонгинова к Воронцову не опубликованы, — но вряд ли это могла быть известная цитированная нами эпиграмма на Воронцова: трудно допустить, что Лонгинов решился сообщить своему другу столь резкие о нем слова; вероятнее предположить, что это была одна из эпиграмм, сказанных тогда Пушкиным про кого-либо из одесских чиновников, — эпиграмм, о которых мы выше приводили сообщение Липранди.

Наконец, укажем еще на письмо гр. Нессельроде к Воронцову, предшествовавшее чуть ли не на две недели его решительному письму о Пушкине от 11 июля: в письме от 27 июня 1824 г. Нессельроде писал: «Император решил и дело Пушкина: он не останется при вас; приэтом Его Императорскому Величеству угодно просмотреть сообщение, которое я напишу вам по этому предмету, — что может состояться лишь на следующей неделе, по возвращении его из военных поселений»³.

Один из ближайших друзей Пушкина, кн. П. А. Вяземский, уже в мае месяце узнал о грозившей поэту беде и писал о том А. И. Тургеневу, который, в свою очередь, сообщал 1 июля своему корреспон-

¹ См.: Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний // Русский архив. 1866. С. 1474; Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1892. Ч. 6. С. 119—120; Москвитянин. 1854. № 9. Отд. V. С. 9 и 14—16; Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1908. Т. 2. С. 273.

² Пушкинский Дом, архив М. Н. Лонгинова, письма гр. М. С. Воронцова, 1824 г., л. 44—45. Туманского ближе узнал Воронцов именно в это время, так как брал его с собою в поездку к теще в Белую Церковь (Туманский В. И. Стихотворения и письма. СПб., 1912. С. 262). Вскоре он взял его с собою и в Крым — в июне (Там же. С. 264—265).

³ Архив князя Воронцова. Кн. 40. С. 14.

денту: «Граф Воронцов прислал представление об увольнении Пушкина. Желая, *soûte que soûte* (во что бы то ни стало), оставить его при нем, я ездил к Нессельроде, но узнал от него, что это уже невозможно; что уже несколько раз, и давно (28 марта и 2 мая), граф Воронцов представлял о сем *pour cause* (по делу): что надобно искать другого мецената начальника. Долго вчера толковал я о сем с Севериным и мысль наша остановилась на Паулуччи, тем более, что Пушкин и псковский помещик. Виноват один Пушкин: Графиня (Воронцова) его отличала, отличает, как заслуживает талант его, но он рвется в беду свою. Больно и досадно. Куда с ним деваться»¹.

Одиннадцатого июля* Вяземский писал в Одессу своей жене, уехавшей туда с детьми на морские купанья, поручая ей отдать поэту свой денежный долг, и, предвидя уже, по письму Тургенева, возможность его выезда оттуда, прибавлял: «Если как-нибудь перед отъездом его понадобятся бы ему деньги сверх того, то дай ему несколько сотен рублей, под залог его будущего бессмертия, т. е. новой поэмы»². В письмах к мужу Вяземская, в свою очередь, сообщала новости о Пушкине: его столкновение с Воронцовым, подача им прошения об отставке и затем высылка из Одессы прошли на ее глазах, причем она была посвящена Пушкиным как единственное, по видимому, лицо, к которому он относился с полным доверием и симпатией, — во все подробности событий. В первом же письме своем по приезду в Одессу, от 13 июня, княгиня Вяземская писала мужу (по-французски) следующее: «Ничего хорошего не могу сказать тебе о племяннике Василии Львовича, поэте Пушкине. Это совершенно сумасшедшая голова, с которою никто не сможет совладать. Он натворил новых проказ, из-за которых подал в отставку. Вся вина — с его стороны. Мне известно из хорошего источника, что отставки он не получит. Я делаю все, что могу, чтобы успокоить его, браню его от твоего имени, уверяю его, что, разумеется, ты первый признал бы его виноватым, так как только ветреник мог бы так набедокурить. Он захотел выставить в смешном виде важную для него особу — и сделал это, что стало известно, и, как и следовало ожидать, на него не могли больше смотреть благосклонно, что меня очень огорчает, но никогда не приходилось мне встречать столько

¹ Остафьевский архив князей Вяземских. М., 1911. Т. 3. С. 57.

² Там же. Т. 5. Вып. 2. С. 13—14.

легкомыслия и склонности к злословию, как в нем: вместе с тем, я думаю, у него доброе сердце и много мизантропии; не то чтобы он избегал общества, но он боится людей; это, может быть, следствие несчастий и вина его родителей, которые его таким сделали»¹. Сообщая А. И. Тургеневу вышеприведенную выдержку из письма жены, князь П. А. Вяземский писал ему 7 июля: «Разумеется, будь осторожен с этими выписками. Но, видно, дело так повернули, что не он просится: это неясно. Грешно, если над ним уже промышляют и лукавят. Сделай одолжение, попроси Северина устроить, что можно, к лучшему. Он его, кажется, не очень любит; тем более должен стараться спасти его; к тому же, верно, уважает его дарование, а дарование не только держава, но и добродетель»²; 10 июля он отвечал жене на ее письмо и говорил: «...этот каламбур сообщи Пушкину, если он еще у вас. Эх он шалун! мне страх на него досадно, да и не на его одного. Мне кажется по тому, что пишут мне из Петербурга, что это дело криво там представлено. Грешно тем, которые не уважают дарования даже и в безумном. Сообщи и это Пушкину: тут есть и ему мадригал, и эпиграмма»³.

Из этих писем кн. Вяземской видно, что ни она, ни Пушкин не ожидали того, что случилось; с гр. Воронцовой Пушкин видался до самого последнего времени, когда она была в Одессе⁴; на опасения мужа Вяземская отвечала, что поэт, по ее мнению, виноват лишь в некоторых ребяческих выходках, да в том, что он справедливо был раздосадован поручением ехать на саранчу, чему он, однако, повиновался; что он влюблен сразу в трех дам, что он вообще несчастлив, что он ничего не знает, что делается о нем в Петербурге, особенно в виду отсутствия Воронцова⁵, так как графиня, в конце концов, узнала лишь то, что Пушкин должен покинуть Одессу — по той причине, что, по словам Воронцова, он не имеет для Пушкина дела в Одессе⁶. После высылки Пушкина гр. Воронцова через А. Н. Раевского передала ему о своем живом сочувствии его несчастию⁷. Однако никаких намеков ни на ревность Воронцова, ни на преда-

¹ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 5. Вып. 2. С. 103.

² Там же. Т. 3. С. 57—58.

³ Там же. Т. 5. Вып. 1. С. 28—29.

⁴ Там же. Вып. 2. С. 123.

⁵ Гр. Воронцова вернулась в Одессу 13 июля 1824 г. (Там же. С. 135).

⁶ Там же. С. 136—137.

⁷ XIII, 106, 530.

тельство Раевского, ни на политические выходки Пушкина в письмах Вяземской не находим, — а она, конечно, была в полном курсе всего, что происходило тогда в Одессе и что касалось Пушкина, к которому она относилась с живой и нежной симпатией и дружбой¹.

Что же, в конце концов, послужило ближайшим поводом к ссылке Пушкина в деревню? Мы думаем, что совокупность четырех обстоятельств: во-первых — подача известного доноса генерала Скобелева на Пушкина, относящегося ко второй половине января 1824 г., во-вторых, перехваченное почтою письмо поэта к одному из его друзей (по всей вероятности, к князю П. А. Вяземскому), датированное первой половиной марта 1824 г. и содержащее высказанные в непринужденной форме суждения об атеизме, который поэт, по его словам, изучал у некоего англичанина, «глухого философа, единственного умного афея», им встреченного*; в-третьих, опасения Воронцова, чтобы в Петербурге не осудили его за близость к Пушкину, — и, наконец, — вероятно, лишь как ближайший повод или основание, — недовольство и оскорбительное для Пушкина раздражение Воронцова, эпиграммы поэта, его ухаживание за женой начальника, наговоры и сплетни и т. п. К сожалению, точного представления о том, в какой последовательности разворачивались события, у нас нет и, несмотря на обилие прежних и на несколько новых найденных нами данных в современных письмах, вряд ли когда-нибудь будет.

По поводу упомянутого в криминальном письме Пушкина об атеизме «англичанина, глухого философа», у которого поэт брал уроки безбожия, мы можем сказать также несколько слов на основании тех же писем Воронцова к Лонгинову; они будут небезынтересны ввиду той роли, которую, хоть и неожиданно для себя, сыграл этот англичанин в деле высылки Пушкина из Одессы. По свидетельству одесского знакомого Пушкина и правителя походной канцелярии Воронцова А. И. Левшина, этот англичанин звался Гунчисон и был доктором; есть и другое указание, будто этот англичанин-атеист был профессор Ришельевского лицея в Одессе Вольсей, но это опровергается указанием на то, что Вольсей покинул Одессу гораздо ранее приезда туда Воронцовых; доктор же Гутчинсон (а не Гунчисон, как

¹ Позднее она намекала Плетневу на связь Пушкина с Воронцовой (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 680).

называет его Левшин) действительно жил в 1824 г. у Воронцовых в Одессе, не первый уже год состоя у них домашним детским врачом. Вот что писал М. С. Воронцов Н. М. Лонгинову из Парижа 21 октября (2 ноября) 1821 г.:

«С нами живет один doktor Hutchinson, которого рекомендовали нам чрезвычайно в Лондоне; он с нами поедет и в Россию; человек прекрасной, ученый, хорошо воспитанный, имел уже довольно практики и, что особенно для нас выгодно, был при Детском Гошпитале в Лондоне, в коем в полтора года лечил до 2000 детей¹. Один маленький недостаток в нем, что немного глух, но, привыкнув к голосу, его почти неприметно»².

Из писем графа и графини Воронцовых в ноябре 1824 г. видно, что в это время доктор Гутчинсон (они называют его в других местах Гутчисоном) продолжал жить в их семействе, ухаживая за детьми и наблюдая за их боннами; 17 ноября Воронцов писал Лонгинову, что он с женой получил из Лондона «хорошее известие», что «прекрасной человек doctor Lee найден вместо почтенного нашего доктора Гутчисона, и что он скоро сюда будет»³. Добавим к этому, что, без сомнения, именно Гутчинсона имеет в виду Вигель, когда в «Записках» рассказывает о своем презде в Одессу в середине мая 1824 г., что он нашел Воронцовых в большой печали из-за болезни их четырехлетней единственной дочери Александры, премилой девочки, причем «лысый доктор, особенно для нее из Англии выписанный, не ручался за ее жизнь...»⁴.

Дальнейшая судьба глухого и лысого доктора-философа нам в точности не известна; есть лишь указание на то, что в конце 1820-х гг. Гутчинсон сделался в Лондоне ревностным пастором одной из англиканских церквей*.

Сообщим еще небольшой эпизод, касающийся ссыльной жизни Пушкина в Михайловском, оставшийся неизвестным до настоящего времени (мы обязаны им А. А. Сиверсу): эпизод этот относится к хлопотам родных поэта об освобождении его из невольного пребывания в Михайловском.

¹ У Воронцовых только что (17/29 мая 1821 г. в Лондоне) родилась дочь Александра.

² Пушкинский Дом, архив Лонгинова, письма гр. М. С. Воронцова 1821 г., л. 65 об.—66.

³ Там же, письма Воронцова 1824 г., л. 93 об., 97 об., 98 об.

⁴ Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 6. С. 168.

Как известно, летом 1825 г. мать поэта, по совету Жуковского и Карамзина, обратилась с просьбой к императору Александру I о помиловании сына; результат просьбы этой был неожиданный: вместо разрешения отправиться для лечения аневризма за границу, Пушкину позволено было съездить в ближайший губернский город, а именно — во Псков, где и подвергнуться операции, — у местного, как саркастически писал Пушкин, коновала или ветеринара. Со смертью Александра I у Пушкина возродилась надежда на освобождение, и он дважды, в марте и в мае 1826 г., делал попытки обратиться к новому императору. Просьба его от 11 мая 1826 г. о разрешении покинуть деревню и ехать для лечения в Москву, Петербург или чужие края получила надлежащее движение, причем в пушкинские места был послан особый шпион, коллежский советник Бошняк, который в июле 1826 г. объехал окрестности Михайловского и Святых Гор, собрал о Пушкине сведения, — к счастью, оказавшиеся для него благоприятными, — и послал их «по команде»*. Результатом расследования было решение вызвать Пушкина в Москву, к вновь принявшему коронование императору Николаю, и известное представление поэта государю в кремлевском дворце. Но теперь оказывается, что почти одновременно с этим новые хлопоты о помиловании сына предприняла и мать поэта, Н. О. Пушкина: проводя лето 1826 г., как и предыдущие, в Ревеле, на морских купаниях, с мужем и дочерью, она обратилась к молодому императору Николаю I с прошением, в котором изъясняла, что «ветренные поступки, по молодости, вовлекли сына ее в нещастие заслужить гнев покойного государя, и он третий год живет в деревне, страдая аневризмом без всякой помощи, — но что ныне, сознавая ошибки свои, он желает загладить оные, а она, как мать, просит обратить внимание на сына ее, даровав ему прощение». Просьба Пушкиной попала 31 августа 1826 г., как адресованная, как говорилось, на высочайшее имя, в Комиссию прошений; но лишь 4 января 1827 г., — вероятно из-за коронационных и иных подобных хлопот, она была заслушана в заседании Комиссии прошений членами ее В. С. Ланским, И. А. Соколовым, А. В. Казадаевым и Н. М. Лонгиновым (тем самым, с которым в 1824 г. переписывался о Пушкине Воронцов), причем постановлено было «довести прошение Пушкиной до высочайшего его императорского величества сведения». Это было сделано 30 января 1827 г., причем прошение Пушкиной при представлении его царю было изложено несколько иначе. «Надежда Пушкина, — читаем здесь, —

изъяняя, что сын ее имел нещастие навлечь на себя гнев покойного государя императора, — почему последовало высочайшее повеление жить ему в деревне, где находится уже третий год одержим болезнию и без всякой помощи, но ныне, усматривая, что сознание ошибок и желание загладить поведением следы молодости успели остепенить ум и страсти, — просит о возвращении его к семейству и о даровании прощения». Прочтя подлинный доклад Комиссии, Николай I поставил на нем условный карандашный знак его рассмотрения, а рукою докладчика, статс-секретаря Лонгинова, сделана была на докладе помета: «Высочайшего соизволения не последовало. 30 Генваря 1827 г.»¹.

Последняя помета чрезвычайно любопытна своим внутренним противоречием: 4 сентября 1826 г. Пушкин был вызван в Москву, извещенный о «Высочайшем разрешении по всеподданнейшему его прошению», — просил же он о разрешении выехать в Москву, Петербург или за границу для лечения; кроме того, шеф жандармов Бенкендорф в первом же письме своем к Пушкину, написанном 30 сентября, извещал поэта в ответ на его недоумения, что ему предоставляется полная свобода приезжать в столицу, — каждый раз лишь с особого разрешения. Пушкин так и понял себя *свободным*: из Москвы он совершил поездку в Михайловское и во Псков, затем опять в Москву: он чувствовал себя легко и радостно:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни, —

писал он в своих известных «Стансах» Николаю; между тем Николай I, как теперь оказывается, даже после свидания с Пушкиным и откровенной беседы с ним, не снял своих, запоздавших, подозрений с чистого сердца поэта и в резолюции на столь поздно дошедшее к нему прошение Н. О. Пушкиной *о помиловании* раскаивающегося сына положил помету, свидетельствующую о том, что соизволения на дарование *прощения* поэту он в своем сердце найти не смог...

Так в двойственном лике, прощенного, обласканного и осыпанного комплиментами писателя, а с другой стороны — вечно подо-

¹ Быв. Архив Госуд. Совета, дела Комиссии Прощений. Журналы Комиссии за январь 1827 г., по арх. кн. № 129 и Всепод. доклады за январь — апрель 1827 г., кн. № 56*.

зреваемого, окруженного недоверием и слезкой человека, и вошел Пушкин во вторую половину своей творческой жизни. Эта двойственность, часто и досадно искажая перед нами светлое лицо нашего поэта, заставляет нас всегда помнить о тягости пройденного им жизненного пути; с тем большими любовью и сочувствием к поэту все мы должны работать для увековечения его памяти.

1927